



*Посвящаю своей
любимой дочурке...*

Не хотелось бы мне, конечно, чтобы ты однажды прочла эту книгу. Она мужская, местами слишком жестокая и даже грязная. И за нее многие будут меня критиковать и топтать своими чистыми и благородными ногами. Но это такое... бессмысленное... Главное, чтобы меня не топтала ты. Наверное, правильнее было бы посвятить тебе какую-нибудь женскую, сентиментальную книгу, но у меня нет подходящего для такой книги настроения. Как замечательно, что я могу сейчас обратиться из прошлого в твое будущее этими строками, в этом есть какое-то волшебство. Здорово, конечно, быть писателем...

Никогда не грусти, мое сокровище, я тебя люблю. Я начал писать эти строки, когда тебе было всего семь с половиной месяцев. Когда ты весила семь килограмм и триста грамм.



Кто знает, может быть, к тому времени, когда ты возьмешь эту книгу в руки, я стану известным писателем, в моем понимании известным. А может быть, и нет! На самом деле, это как игра в русскую рулетку. Может не выстрелить графоманство, а может выстрелить талант. Самому бы разобраться, что я есть такое.

Моей любимой и вечно счастливой малышке Еве...

Прочитай мое посвящение и закрой эту книгу. Она тебя не касается, посвящаются тебе лишь мои бессонные ночи, когда ты спала. Мой труд.

Спасибо.

Глава первая

Пора бы мне броситься под поезд ..

Меня зовут Домиан. Как Дориан, только Домиан. Мой рост сто семьдесят один сантиметр, хотя последние несколько лет я всем своим знакомым (а таких у меня — и трех пальцев счесть будет много) вру, что мой рост целых сто семьдесят четыре, а иногда даже сто семьдесят шесть сантиметров. Несколько сантиметров придают мне уверенности в себе, как несколько тысяч долларов в кармане у «нищевродского», но никоим образом не делают меня выше. Не хотел своим выражением никак обидеть известного поэта, ну понятно, о ком идет речь. Нынче все образованные, даже слишком, но разговор не об этом.. В последнее время я очень много вру. Нет, не так! «Мне приходится врать» — это мое самое любимое оправдание.



Да, кстати, комплекс «коротышки» у меня начался с тех пор, как один мой школьный товарищ Онух.. Даже не совсем товарищ, а так, одноклассник, балбес, дамский обольститель, если последнюю фразу взять в кавычки.. да, черт с ним, с доходягой, пусть будет — просто знакомый, у которого вдруг в пятнадцать лет разыгрались гормоны, сны взорвались поллюцией, а его голодный взгляд прилип к попам одноклассниц. Да, совершенно типичный малый до самых костей типичности, если не учитывать тот факт, что целых два года он вливал в уши всем окружающим — естественно, против их воли, — а в частности, и мне, что он маленький, не удаленький, неполноценный и никому не нужный шпрот. Коротыга!

Так, это я уже совсем разошелся, сейчас попробую вещать более литературным языком, я ведь книжный червь. Отец меня никогда не баловал, а вместо этого давал читать книги. Книгами не согреешь, зато научишься красиво посылать людей в узду. Насчет отца это правда.. И снова я пустился в пустое балаболство, но уверяю, моя жизнь — штука серьезная. Просто я себя настолько презираю и ненавижу, что стараюсь над некоторыми вещами смеяться, лишь бы над ними же не заплакать.



В общем, одноклассник этот, кот-бегемот на люстре, только без примуса и без возможности стрелять в своих обидчиков из пистолета, все ныл и ныл, что ниже его только пятиклассники, и то еще надо поискать таких. А мы на тот момент уже заканчивали девятый класс. И вправду, пятиклассники могли спокойно принять его за своего (только немного старого и с усиками «своего») и даже вызвать за школу и надавать лещей за какой-то косою взгляд в их сторону. Дети жестоки, вспомните «Повелителя мух». И вот в какой-то момент сто шестьдесят три сантиметра роста моего одноклассника стали причиной всех его бед. В частности, жидких усов и вони изо рта. Ну и, понятное дело, что тем девушкам, которые нравились ему, не нравился он. И настолько категорично он их не устраивал, что на роль того, с кем однажды при свечах они хотели бы лишиться девственности, больше бы подошел, ну скажем, макаронный монстр. Девушки рассматривали Онуха исключительно в качестве маленького плюшевого медведя, которого можно потрогать, потискать за щеки, нос, уши, которому можно рассказать о своих проблемах с парнями, если у них не клеилось (при этом ему ни на какой «клей» не намекали). Они могли поде-



литься с ним своими девичьими секретиками, месячными-маразмесячными... короче говоря, мои одноклассницы не воспринимали его как мужчину.

«Во всем виноваты мои сто шестьдесят три сантиметра», — изо дня в день повторял себе он, а я это волей-неволей слушал. Его проблемы, его нытье меня совсем не касались в тот момент, как я думал. Но спустя какое-то время, когда я уже окончил школу и наши встречи с Онухом стали настолько редкими, что дважды столкнувшись в метро, мы оба раза сделали вид, что не узнали друг друга, я начал задаваться вопросом... Вот у него сто шестьдесят три сантиметра — в обуви на высокой подошве — и подбородок, постоянно тянущийся вверх (Онух так делал, чтобы казаться выше и поувереннее). А вот мой сто семьдесят один... Разница в восемь сантиметров — это же ничто. Семь из десяти мужчин, проходящих мимо меня, на голову выше. В мире высоких Онух — карлик. Значит, все дело в росте. Исключительно в росте!

Вот почему в двадцать лет у меня не было ни девушки, с которой я мог бы поделиться своими микробами, ни друга, у которого можно было бы переночевать, и вместе с кем вызвать де-



виц самой древней профессии. Никого, кто был бы рад меня видеть и мог выслушать. Родители меня особо не замечали. Только когда я уже совсем начинал путаться под ногами. Или в тот период, когда писался в кровать через день на третий, как по расписанию. Начались эти мокрые преступления, мокрухи, в двенадцать лет и длились до пятнадцати. Но ведь родители замечали вонь моей мочи, а не меня. И не радовало даже то, что они не отчитывали меня и не внушали чувство стыда.

Да, точно, как я был слеп! Вот, например, девушки любят высоких, ни одна женщина не обернется на мой сто семьдесят один сантиметр, в поле их зрения попадают только мужчины от ста восьмидесяти двух. И плевать, что у меня член двадцать сантиметров в длину и двенадцать в окружности. Ладно, тут я немного загнул, но, в целом, какое все это имеет значение, если, кроме меня, его никто не видел?

В общем, в двадцать лет меня как молотком по голове шарахнуло, я четко осознал: все, что происходит в моей жизни и чего не происходит — это из-за ста семидесяти одного сантиметра. Ко мне пришло просветление, ярчайшее озарение, как приходит оно к некоторым после книг Ошо, а к более умным — после Айн Рэнд.



Не хочу никого обидеть, но «пусть ребенок воспитывает себя сам» — такая мораль не по мне. Вот воспитываю себя сам уже много-много лет, и моя самооценка наконец нащупала отсутствие сантиметров. Несомненно, если бы я был выше, моя жизнь окрасилась бы в другие цвета. Я даже нашел статью в газете, мол, ученые выяснили, что мужчины ростом до ста семидесяти пяти сантиметров менее успешны во всех сферах жизни, чем те, кто повыше. С тех пор я поставил на себе крест. Конечно, в могильную яму еще пока не ложился и не засыпал в кладбищенской тиши под депрессивные стоны, но в двадцать лет я четко ощутил, что моя жизненная энергия угасает с каждым днем. Что я умираю внутри. Что я перегниваю, воняю, что я не из надежного камня, а из хлипкого картона самокритики и острот.

Бывало ли, интересно, еще у кого-нибудь такое поганое чувство, будто внутри завелся прожорливый червь, который пожирает все силы? Конечно, ведя откровенный диалог с самим собой, можно смело сказать, что всему виной был регулярный онанизм, ежедневная бессонница и тяжелые сигареты, от которых я регулярно падал в обморок, особенно по утрам, когда курил натошак.



Собственно, дело поутру обстояло примерно так. Открыл глаза. Поднял тело. Взял на столе зажигалку и сигарету. Накинул одежду, вышел на балкон. Закурил. Сделал шесть затяжек. Голова закружилась. Ком тошноты подступил к горлу. Смял в пепельнице сигарету. Зашел обратно в квартиру. Упал у окна. Очнулся. Открыл глаза. Закрыл дверь на балкон. Выпил воды, потому что в горле всегда пересыхает от сигарет. Умылся. Почистил зубы. Закурил снова. Позавтракал в обед.

Как-то так примерно.

Я умирал. Не физически, а внутри себя. И умирал порой так сильно, что в свой двадцать первый день рождения я бросился под поезд..

Почему же я умирал? А как было не умирать, если отец не любил мать, был абсолютно равнодушен ко мне и всячески демонстрировал всем вокруг свое полное безразличие и превосходство. Да лучше бы он меня бил иногда, как все нормальные отцы и учил чему-то. Как же не умирать, если в моей жизни не имелось ни одного человека, которому можно было тихо сказать: «Послушай, обними меня. А то мне что-то плохо». Мой отец, наверное, обнял бы меня лишь тогда, когда потребовалось бы до-



тащить меня из ванной комнаты до кровати, одеть, а затем донести до гроба. Невесомого меня он бы, наверное, обнял. И обнимал ведь когда-то. Когда я весил совсем немного. Что же стало потом?

Как было не умирать, если, сколько себя помнил, я играл на пианино, а мать в последнее время только и говорила мне, чтобы я нашел работу. Кстати, из-за этого инструмента, единственного моего верного друга на протяжении всей жизни, я чуть не умер. Это было давно, целых девять лет тому назад. И с тех пор я перестал видеть нормальные детские сны. . . Отец вообще не замечал и не слышал меня годами. Мать не понимала моей музыки. Хотя когда-то сама же меня и отправила обучаться. Она думала, что однажды я стану великим пианистом, как, к примеру, Жан-Луи Адан. Но она, видимо, поглупела — время от времени отец бил ее по голове, и с тех пор ее голова перестала быть ясной. Она не понимала, что музыка — это единственное, что у меня есть, профессия всей жизни. Даже матери у меня нет. . . И согласно ее новым убеждениям, я должен был стать юристом, экономистом, или кем-то еще. Но никак не собой. Музыка — это роскошь великих, а не удел бедных. Она же дума-



ла в последнее время наоборот. Что же могло затуманить ее голову таким маразмом?

Как не умирать, скажите мне, слушатели голоса в моей голове, если единственным человеком, который восхищался моей музыкой, был мой глухонемой дядя Дотто, и то когда выпьет? Личность, кстати, примечательная: нищий художник, алкоголик, он приходил в наш дом только для того, чтобы поесть и попросить у отца денег. А трудился частенько на улице. С ладонью, протянутой к тем, кто зарабатывает отнюдь не искусством.

Как не умирать, если окружающие меня люди умерли? Если ни с кем нельзя поделиться самой главной тайной моей жизни, которая грызет меня изнутри, просится вылезти наружу. Наверное, поэтому я курил по две пачки сигарет в день. Заблеывал иногда постель, мочился в пустую бутылку, чтобы лишний раз не идти через кухню в туалет и не видеть на своем пути никого из умерших. Возможно, поэтому я бросился под поезд, когда мне исполнился двадцать один год. А, возможно, потому, что во мне был всего сто семьдесят один сантиметр роста.

Я принимал свое убожество изо дня в день. Но порой я принимал в себе и ту скрытую от